

Николай АЛЕКСАНДРОВ

Журнализм как способ общественного бытия

В нашу эпоху, которую Г. Гессе справедливо назвал фельетонной, общественное сознание формируется прежде всего журналистикой. В современном человеке постоянно поддерживается иллюзия стремительного движения и ощущения чрезвычайной событийной насыщенности мира. Дух и главная установка журнализма — сенсация, сама обыденность должна восприниматься в исключительности. К какой бы области знания, к какой бы сфере человеческой жизни ни относилась новость, она должна быть событием из ряда вон выходящим, поддерживать в читателе неослабевающее напряжение: сегодня не просто что-то случилось, но произошло нечто исключительной важности. Сенсация реализует в сознании два настроения: ощущение быстрого и неуклонно восходящего движения, постоянного развития и совершенствования — «завтра будет лучше, чем вчера»; ощущение не менее стремительного нисходящего движения, процесса распада и разложения, неминуемо приближающейся гибели, приводящее к мысли, что никакого завтра не будет. Катастрофа не просто грозит в будущем, но уже свершается сегодня, сейчас. С этой точки зрения суть журналистики может быть выражена формулой — «апокалипсис каждый день».

Прогресс и упадок сосуществуют в общественном сознании и самосознании культуры, несмотря на то, что вроде бы взаимоотрицают друг друга. Они прекрасно уживаются в оценке дня сегодняшнего, хотя в разные периоды верх может брать та или иная сторона. Эти категории определяют обыденное или обыкновенное отношение к прошлому, доминирующее сегодня, которое в отличие от строго академического подхода имеет оценочный характер. Восприятие той или иной исторической эпохи как прежде всего другого времени предполагает не просто знание, но научный анализ; оценка же в большинстве случаев лишь подводит итог сравнению, который упрощенно можно свести к двум, по сути дела, одинаковым выводам: раньше было плохо, а сейчас хорошо, или наоборот.

Но главное, что при этом мышление в категориях упадка и прогресса совершенно игнорирует историю как таковую, уничтожает историческую дистанцию. Прошлое воспринимается как пророчество о настоящем, слова, сказанные применительно к другой исторической эпохе, переводятся в актуальную парадигму, вчера сливается с сегодня, разница становится неуловимой или несущественной. Цитаты из Ф. Достоевского и М. Салтыкова-

Александров Н. Д. — кандидат филологических наук, заведующий сектором Государственного музея А. С. Пушкина. Специалист по русской литературе.

Щедрина приобретают исключительно современное звучание, читаются синхронно, а не диахронно.

Дело, видимо, не только в том, что существуют вечные пороки и добродетели, вечные проблемы. Ведь проводимые аналогам касаются чаще всего обыденных вопросов актуальной действительности, быта, а не бытия, и идут по пути намеренного упрощения, не учитывают существенных различий в общественно-политическом устройстве, жизненном укладе и т. д. В данном случае речь идет о психологии общественного самоощущения, но именно в этом самоощущении категории прогресса и упадка относятся к числу вечных, пребывающих в культуре всегда.

Стихия журнализма в культуре

Культура не просто мыслит себя в терминах упадка и прогресса, и доминирующее в данный момент общественное настроение отнюдь не является объективным показателем ее состояния. Общественное самоощущение всегда тяготеет к однозначности, так как стремится предвидеть завтрашний день, угадать будущее, а следовательно, и предельно упростить сложную картину мира. Общественное настроение складывается из переживания повседневности. Факты именно переживаются, а не осмысливаются: для анализа нет времени. Общественное настроение предвзято в оценке, вернее, оценка уже predetermined доминантой настроения. С этой точки зрения одно и то же известие может восприниматься как факт, подчеркивающий закономерность жизненного движения, или же как случайность, относящаяся к разделу «чего только не бывает».

Ориентацией на сложившийся стереотип настроения определяется журнализм, который свойственен не только журналистике, он вторгается и в науку, и в искусство, и в литературу — целые литературные жанры в подавляющем большинстве своих произведений создаются стихией журнализма: детектив, фантастика, т. е. ежедневное чтение, отвечающее потребности читателя занять время, отвлечься, «расслабиться». (Не случайно детектив, например, нередко уподобляют разгадыванию кроссворда.) Журнализм — это метод, способ подхода к действительности, состоящий не в исследовании факта, а в мгновенной оценке его. Он сосредоточен на поверхности жизни, не идет дальше насущного, для него важна не проблема, а результат, поэтому, несмотря на свою прикованность к ежедневно меняющейся действительности и постоянный поиск нового и сенсационного, журнализм крайне консервативен, не в форме, конечно, а в мысли. Ничего не придумывая и не изобретая, пользуясь готовыми шаблонами и формулировками, оперируя штампами и трафаретами общественного сознания, журнализм называет и информирует, подсказывая необходимую эмоцию в переживании случившегося. В этом его отличие от научного и художественного постижения мира.

Вышедшие из журналистики «Дневник писателя» Ф. Достоевского, «Уединенное» и «Опавшие листья» В. Розанова лишены журнализма именно потому, что их характеризует совершенно иной взгляд на мир. Достоевского и Розанова в первую очередь интересует то, что можно было бы назвать знаменательностью факта, т. е. свидетельство события о сущном и бытийном. В этом случае жизненное явление воспринимается в его многозначности, рассматривается как символ. Тем самым разрывается замкнутость повседневности в актуальном. Общественное настроение, из которого исходит и на которое ориентируется журнализм, напротив, оценивает факт лишь с позиции «лучше—хуже», поэтому противоречивость и неоднозначность действительности для него равносильны хаосу, приводят к смятению.

Это особенно заметно в периоды серьезных исторических изменений и сдвигов, когда современники видели, что действительность находится одно-

временно в состоянии упадка и прогресса, что, естественно, ставило серьезные проблемы. Поскольку прогресс и упадок явно противоположны друг другу, необходимо было решить, что же все-таки происходит: становление или разрушение. И если подобного рода оценка не охватывала всех особенностей жизненного движения в целом, предстояло хотя бы выяснить, как эти понятия относятся к отдельным сферам жизни. С этой точки зрения чрезвычайно показательны общественные настроения в России последней трети XIX века.

Попытка самоосмысления

Одно из наиболее распространенных и простых решений названной выше проблемы заключается в том, что улучшение относится к внешней жизни, к социальной и экономической сферам, а область духовная, нравственная оценивается как неизменная или ухудшающаяся.

При таком подходе неизбежен вывод, что в стремлении улучшить внешние условия существования человек поступает жизнью духовной, нравственно деградирует. В России 80 — 90-х годов XIX в. эта концепция с некоторыми оговорками, конечно, была выражена во взглядах Л. Толстого и представителей позднего народничества с их интересом к религиозно-нравственной стороне крестьянской жизни и крестьянского мира. В само понятие "крестьянский мир" вкладывался не экономический, а этический смысл. Нетрудно заметить, что в этом случае антиномичность в восприятии жизненного движения снимается. Экономический прогресс рассматривается уже как одна из причин нравственного разложения, т. е. как безусловное зло. Таким образом, в оценке действительности начинает доминировать категория упадка, которая переносится на всю жизнь в целом, а не только на ее экономическую сторону.

Неудивительно, что эта концепция встречала у современников серьезные возражения. В 1897 г. А. Чехов сообщал А. Эртелю: «Толстой пишет книжку об искусстве... Мысль у него не новая; ее на разные лады повторяли все умные старики во все века. Всегда старики склонны были видеть концы мира и говорили, что нравственность пала до *nec plus ultra*, что искусство измельчало, износилось, что люди ослабели и проч., и проч. Лев Николаевич в своей книжке хочет убедить, что в настоящее время искусство вступило в свой окончательный фазис, в тупой переулочек, из которого ему нет выхода (вперед)»¹.

Не стоит относить это высказывание Чехова к психологической характеристике стариков вообще: тогда оно стало бы лишь общим местом. Чехов мыслил сложнее. Здесь важна оценка общественного настроения. Любопытно, что при том же взгляде на состояние общества нравственный ригоризм Толстого может обернуться полной противоположностью. Вот как, например, герой чеховского «Рассказа неизвестного человека» передает общее содержание разговоров, которые ему обыкновенно приходилось слушать, когда к его хозяину приходили гости: «Говорили, что нет верных жен; нет такой жены, от которой, при некотором навыке, нельзя было бы добиться ласк, не выходя из гостиной, в то время когда рядом в кабинете сидит муж. Девочки-подростки развращены и уже знают все... Говорили, что чистоты нравов не было никогда и нет ее, очевидно, она не нужна; человечество до сих пор прекрасно обходилось без нее. Вред же от так называемой разврата, несомненно, преувеличен. Извращение, предусмотренное в нашем уставе о наказаниях, не мешало Диогену быть философом и учителем; Цезарь и Цицерон были развратники и в то же время великие люди.

¹ Чехов А. П. Собр. соч. в 12-ти томах. Т. 12. М., 1962, с. 145.

Старик Катон женился на молоденькой и все-таки продолжал оставаться суровым постником и блюстителем нравов»².

В данном случае упадок выступает как оправдание безнравственности, но это лишь одна из реализаций настроения, доминирующего в обществе. Чехову важно подчеркнуть не только пустоту и никчемность собравшихся и рассуждающих подобным образом людей, но и недопустимость упаднической оценки вообще. Упадничество для Чехова это состояние мира и не обязательно подразумевает конкретную жизненную программу, как в приведенном примере. Более того, даже не обязательно свойственно определенному сословию или возрасту. Настроение упадка может объединять людей самых разных, как видно из следующего отрывка: «Пока ели, шел общий разговор. Из этого разговора Егорушка понял, что у всех его новых знакомых, несмотря на разницу лет и характеров, было одно общее, делавшее их похожими друг на друга: все они были людьми с прекрасным прошлым и с очень нехорошим настоящим; о своем прошлом они, все до одного, говорили с восторгом, к настоящему же относились почти с презрением. Русский человек любит вспоминать, но не любит жить; Егорушка еще не знал этого, и прежде чем каша была съедена, он уже глубоко верил, что вокруг котла сидят люди, оскорбленные и обиженные судьбой. Пантелей рассказывал, что в былое время, когда еще не было железных дорог, он ходил с обозами в Москву и в Нижний, зарабатывал так много, что некуда было девать денег. А какие в то время были купцы, какая рыба, как все было дешево! Теперь же дороги стали короче, купцы скуpee, народ беднее, хлеб дороже, все измельчало и сузилось до крайности. Емельян говорил, что прежде он служил в Луганском заводе в певчих, имел замечательный голос и отлично читал ноты, теперь же он обратился в мужика и кормится милостями брата, который посылает его со своими лошадьми и берет себе за это половину заработка. Вася когда-то служил на спичечной фабрике; Кирюха жил в кучерах у хороших людей и на весь округ считался лучшим троечником. Дымов, сын зажиточного мужика, жил в свое удовольствие, гулял и не знал горя, но едва минуло двадцать лет, как строгий, крутой отец, желая приучить его к делу и боясь, чтобы он дома не избаловался, стал посылать его в извоз, как бобыля, работника. Один Степка молчал, но и по его безумному лицу видно было, что прежде жилось ему гораздо лучше, чем теперь»³.

Чехов здесь не выходит за рамки психологического анализа. Высказывания собеседников объясняются общими свойствами характера русского человека, поэтому и не могут претендовать на объективность, а, напротив, расходятся, по мнению писателя, с истинным положением вещей. Чехов считает, что людям только кажется, будто прошлое лучше, поскольку русская душа склонна к пессимизму. Но доминанта общественного настроения должна иметь основания и в самой действительности. Жизнь менялась и это прекрасно осознавали и сам Чехов, и его современники. Однако обновление ее нередко воспринималось не как становление, а как энтропия.

В романах современника Чехова Д. Мамина-Сибиряка «Три конца», «Дикое счастье», «Золото», «Хлеб» отражен именно процесс стремительно разрушающейся действительности. Изменение старых форм существования приводит к уничтожению жизни вообще. Это не означает, что Мамин-Сибиряк идеализировал прошлое, которое зло и жестокость характеризуют не в меньшей, а даже в большей степени, но прогресс ликвидирует цельность и органичность старого мира, мир становится более сложным и разнообразным, однако утрачивает архаичную простоту. Прогресс высвобождает сти-

² Чехов А. П. Собр. соч., т. 7, с. 205.

³ Чехов А. П. Собр. соч., т. 6, с. 70—71.

хийные разрушительные силы, которые сдерживались жесткими скрепами старого жизненного уклада, большая свобода оборачивается против человека и общества, неминуемо приближая катастрофу (не случайно в романах Мамина-Сибиряка смерть или сумасшествие героев — закономерный исход их судьбы). Жизненное движение показано у Мамина-Сибиряка как угасание витальной силы, и ни образование, ни богатство, ни культура не могут воспрепятствовать процессу вырождения, более того, нередко являются его показателями.

Человек стал свободнее, просвещеннее, но слабее. Уничтожив сдерживающие начала старого жизненного уклада, он не может противостоять стихийным силам, разрывающим его изнутри. Прошлое, по Мамину-Сибиряку, неуничтожимо, оно живет и действует в человеке, что находит выражение в первую очередь в наследственности. В это понятие писатель вкладывал достаточно широкий, не только биологический, смысл. Наследственность, в понимании Мамина-Сибиряка,— это передача из поколения в поколение жизненной силы, но поскольку жизнь изображается писателем как нарастание энтропии, наследственность означает прежде всего накопление энергии вырождения. Прогресс затрагивает лишь поверхность действительности, глубинные же процессы, не столь заметные, но зато более значительные, определяют судьбу мира, т. е. движение от порядка к хаосу. Прогресс иллюзорен, обманчив, он только мираж улучшения жизни. На самом деле в маске прогресса к человеку приходит смерть.

«Держава» жизни

Иным было мировосприятие другого видного писателя последней трети XIX в. А. Эртеля, автора достаточно известного в ту пору романа «Гарденины». Воспитанный в традициях шестидесятников, Эртель не мог согласиться с отрицательным взглядом на прогресс, хотя и не абсолютизировал его. Эртель видел сложность и противоречивость мира, у него не было однозначного отношения к происходящим изменениям. С его точки зрения, старое не может быть абсолютно плохо, а новое абсолютно хорошо, хотя наступление нового неизбежно. Нельзя односторонне судить о жизни; то, что поначалу кажется злым, жестоким, несправедливым, имеет свои основания, свою правду и свое благо, а хорошее и привлекательное на первый взгляд оборачивается злом. Мир «текуч» и непостоянен, но для Эртеля важно было найти основу жизненного движения, выявить абсолютное в общей относительности мира, поскольку без опоры на абсолютные начала деятельность человека теряет смысл: «Меня, как, вероятно, и всякого другого,—писал Эртель,—для кого убедителен факт «текучести», в разные времена и на разные лады мучительно занимала мысль, в чем же состоит та «держава» (держава — не в «государственном» значении этого слова, а в «плотническом»), которая давала бы мне опору в этом стремительном потоке вещества и всего, что коренится и зиждется в веществе»⁴.

Слово «держава» оказывается центральным понятием в философских рассуждениях Эртеля и играет значительную роль в его романе «Гарденины», в котором дана масштабная картина исторических изменений в пореформенной России. В «Гарденинах» Эртель пытается, связав воедино изображение исторического процесса в целом и личных судеб конкретных людей, наполнить содержанием это понятие, определить «державу» жизненного строя вообще и человека в частности, обнаружить абсолютное в сумя-

⁴ Эртель А. И. Письма. М., 1909, с. 131.

тице жизни. Автор показывает, что общее жизненное движение изменяет формы существования, прогресс делает жизнь лучше, но не изменяет ее духовных основ, они остаются теми же; облегчается лишь путь к ним человека, и только с этой точки зрения прогресс имеет смысл. Таким образом, жизнь распадается как бы на две сферы: постоянно сменяющееся, движущееся и неизменное, абсолютное, существующее в изменяемом и одновременно являющееся целью движения жизни: «Химия, механика, физиология, т. е. их законы — своим чередом, а свет разума, сила духа — своим...»; «... своим чередом великие катастрофы, мучительные смены культур, цивилизаций, господствующих и командующих рас — и своим — Дух любви, свободы, правды, а с ним и неоскудевающая сила творчества»⁵.

Из сказанного видно, что Эртель, как и Мамин-Сибиряк, различал два уровня в общем движении жизни: поверхностный, с которым и связан прогресс, и глубинный, внутренний, не столь явный для большинства. В соответствии с этим Эртель различал два типа людей. Для одних, немногих, «действительно неважны внешние формы общественности: в состоянии рабства они также готовы блистать мудростью и добродетелями, как и в состоянии внешней свободы»; для большинства же свойственно иное, «зачатки добра развиваются в них усилием, требуют культуры, нуждаются в заботливом уходе, в благоприятном складе внешних форм общественности»⁶.

По Эртелю, развитие общества создает условия для нравственного совершенствования обыкновенного, среднего человека, увеличивает количество хороших людей, при этом духовная сфера бытия остается той же самой. т. е. происходят количественные, а не качественные изменения. В вечном «течении вещества» есть некий центр, от которого зависит судьба общества и человека, — «держава» жизни. Смысл этого понятия Эртель четко сформулировать не мог, но он чувствовал, что если изменения затрагивают этот центр, «сдвигается держава», рушатся бытийные основы — мир обречен на гибель.

Мировосприятия у Эртеля и Мамина-Сибиряка вроде бы полярно противоположны. Первый все-таки делает акцент на позитивном значении прогресса, на развитии, улучшении жизни, второй — на разрушении и стремлении к гибели. Но объединяет их одно — выход за пределы журнализма, освобождение от слепоты общественного настроения. Они пытаются осмыслить сами понятия упадка и прогресса, выяснить, что стоит за поверхностными изменениями.

* * *

Жизненное движение не исчерпывается бытованием форм, в нем есть некое неуловимое, но ясно осознаваемое ядро, выявить и объяснить которое и пытались писатели последней трети XIX века. Уничтожение этого бытийного центра означает гибель культуры, в широком значении этого слова, переход жизни в качественно иную парадигму, хотя старые формы, черты прежнего жизненного уклада могут сохраняться еще долгое время.

Литература конца XIX в. за внешней суматохой повседневности, за обыкновенными заботами дня чувствовала зарождение этого иного бытия. Пройдет совсем немного времени, и его очертания станут отчетливее. Разложение старых общественных устоев само по себе, казалось, не предвещало ничего плохого, более того, явно приветствовалось и поддерживалось общественным настроением. Но наряду с этим воодушевлением из смутного пессимизма *fin de siècle* родился символизм. В пылающих закатах 900-х годов символисты видели предвестие близкой катастрофы, о которой свиде-

⁵Там же, с. 245.

⁶Там же, с. 172—173.

тельствовали не просто отдельные события и факты действительности, но сам мир. Важно отрешиться от моды и стилизации, сопутствующих любому значительному общественному явлению, и видеть в символизме, сам дух которого противоречит журнализму, не просто стиль или течение, а «жизненно-творческий метод» (В. Ходасевич). В основе своей символизм шел вопреки общественному настроению, и так же, как вещи предсказания авторов сборника «Вехи», пророчества символистов не были поняты и услышаны, были заглушены истерией общественного воодушевления. Утверждающийся хаос, усиливавшаяся разногласия мнений и партий говорили о свершающейся смерти бытийных основ старого мира.

Мне бы не хотелось проводить прямых аналогий с настоящим временем. Важно другое: сегодняшний день настоятельно требует освободиться от стихий журнализма, чтобы осмыслить происходящее и окончательно не ослепнуть, не потеряться в водовороте событий.

© Н. Александров, 1992